

## ОТТОРЖЕНИЕ

### Глава 1

#### Год 1937

Процесс отторжения от существовавшего в стране строя начался для меня в 1937 году, когда мне шел еще только девятый год. События того страшного года я, разумеется, не мог еще осознать во всей полноте, но впечатления от них откладывались в моем подсознании и потому необычайно ярко закрепились в памяти. Все, что было ранее, вспоминается очень туманно.

Летом 37-го года мы жили на даче у станции Крагово, что по Рязанской железной дороге. В один погожий солнечный день мы с отцом пошли на прогулку к полю у реки Хрипанки. Это был наш любимый маршрут. И поле было очень красивое: оно шло в гору и потому казалось бескрайним, уходящим к небу, и идти надо было к нему через изумительный сосновый лес, просвеченный солнцем, через густой настой соснового воздуха, по песчаной дороге, усыпанной хвоей и шишками. Никаких дач тогда еще не было в том лесу, и лес стоял здоровый, настоящий, одно слово — сосновый бор!

Сейчас от этого бора остались рожки да ножки. Он изуродован дачным строительством. Жалкий ручеек остался и от полноводной реки Хрипанки. Я помню, как отец однажды нырнул в Хрипанку с дерева и уплыл под водой за излучину, и мы испугались, не утонул ли он. Теперь же Хрипанка стала в прямом смысле слова курице по колено! Лес вырубает под дачи, и вода уходит в песок. Ушли из леса и ягоды с грибами. А было время, когда мы за полчаса перед обедом собирали на нашем участке глубокую тарелку земляники! И даже белые грибы находили около дома.

Помню случай, как мы с детьми из соседних дач, гуляя в лесу, набрали на поляну, по краю которой тучей росли белые и подосиновики. Ребята снимали с себя рубашки и, завязав рукава и воротники, сделали из них мешки, чтобы складывать туда грибы.

Но среди нас была и девочка, помню ее имя — Зоя, и она очень расстроилась: как же ей быть? Она была в одном сарафане! И была она, в моем понимании, уже не девочкой, а девушкой, и очень красивой, я тайно вздыхал по ней. Но она была старше меня лет на пять и не обращала, естественно, на меня никакого внимания. Самым старшим среди нас был Юра Абросимов, высокий, стройный, русоволосый, этакий викинг, которого я втайне ненавидел за то, что он пользовался успехом у Зои. И он тогда в лесу помог ей: снял с себя майку и сделал из нее второй мешок — для Зои. А сам остался красоваться своим торсом! И какова же была на другой год (37-й!) моя радость, когда Абросимов вдруг в начале лета исчез из Крагово. Вместе с семьей. Тогда я впервые услышал словосочетание «враг народа», относившееся к его отцу.

Но радость моя была недолгой. Вслед за ним исчезла с родителями и Зоя! И в течение примерно месяца исчезли и все остальные мои товарищи-соседи. Дачи вокруг нас пустели одна за другой.

Поясню, что наш дачный поселок-кооператив, называвшийся тогда «Красный подпольщик», был заселен преимущественно партийными работниками, поэтому и шла столь жесткая его «зачистка», говоря по-современному. Сталин освобождался от ленинских кадров, от боль-

шевиков, завершал свою контрреволюцию. После 37-го года кооператив переименовали в «Красный бор».

Последней рядом с нами пала дача коминтерновского работника Бронского. Сначала взяли его жену, а он еще некоторое время оставался один на даче. Раз как-то, столкнувшись с отцом, развел руками: «Лес рубят — щепки летят!». Это была тогда широко распространенная формула, которой оправдывались одновременно и арестованный (если он был близким человеком), и режим. Мол, когда идет такая борьба с «врагами народа» и «вредителями» (рубят лес), то и ошибки (щепки) неизбежны. Однако приехали вскоре и за самим Бронским. Еще одна «щепка» отлетела!

И вот через пару дней после этого мы и пошли с отцом гулять в поле, а когда возвращались домой — увидели, что уже у нашей калитки стоит открытая легковая машина, и в ней сидят двое военных в сине-красных фуражках НКВД!

В конце просеки росла толстая сосна. Отец, увидев машину, отпрянул за нее и ухватился за ствол. Постояв так несколько долгих мгновений, он оттолкнулся от ствола и решительно пошел к машине.

— В чем дело? Вы ко мне? — спросил отец военных. Они обернулись.

— Извините, товарищ! — сказал один из них. — Мы приехали вон на ту дачу, — он указал на дачу Бронского, — но там лужа большая около калитки, и мы здесь остановились...

Накануне прошел сильный ливень, и действительно около ворот дачи Бронского раскинулась широкая лужа. Дальше по улице, по другую сторону лужи, виднелась еще одна открытая машина, но пустая. В авто возле наших ворот сидели, видимо, шоферы обеих машин.

Сотрудники НКВД, как мы потом поняли, приехали делать обыск на дачу Бронского, возможно повторный. И произошло тогда нечто, непонятное мне и до сих пор. Обыск они вели до позднего вечера, в перерывах, отдыхая, парами бродили по участку — собирали землянику. Чекисты всегда ходили и сидели парами! Закончив свою работу, они уехали, не потушив почему-то в комнатах света и не закрыв окон.

Настала ночь — и мы увидели пылающую электрическим светом дачу. Она была двухэтажная, с широкими окнами. Я никогда в жизни потом не видел более яркого света. Родители просыпались среди ночи и смотрели: горит!

На следующую ночь дача вновь полыхала. В довершение ко всему ветер, сквозняк, стал выдувать через распахнутые окна бумаги, раз-бросанные, видимо, в комнатах во время обыска, и постепенно разносил их по всему участку; появились они и на нашем участке.

Напротив нас, через дорогу, стояли дачи другого поселка — не для партийных работников, и там дачники продолжали жить: повальных арестов там не было. Они ходили мимо по дороге, да и в нашем поселке существовал сторож, но никто, в том числе и мои родители, не решались зайти на прокаженную, «горящую» дачу — потушить свет и закрыть окна. И к бумагам никто не прикасался.

Каждую ночь дача обреченно полыхала белым светом, пока не начали перегорать лампочки. Взрослые вели счет: еще одна перегорела! Постепенно дача потухала. Мне кажется, потухала она почти до конца лета.

А осенью 37-го отец надолго уехал из Москвы. Не скрылся — для него это было невозможно, — а просто уехал, чтобы не быть на глазах у коллег, не напоминать о себе как об объекте для доносов! Доносительством тогда многие пытались отвести удар от себя, задобрить «органы».

Соответствующий опыт отец имел по партийным «чисткам», проходившим до начала «ежовщины». Тогда прямо на партийных собраниях люди «выдергивали» друг друга. Вдруг кто-нибудь замечал вас, выходил на трибуну и «ставил вопрос»: а почему это сидящей здесь товарищ, имярек, не расскажет нам, что он делал в 1918 году?! Или что-то в этом роде. И зачастую этого было достаточно, чтобы «товарища» вычистили из партии.

Отец рассказывал, как на одном из подобных собраний кто-то из братьев-писателей обратил внимание зала и на него: вот, мол, сидит перед нами в президиуме маститый драматург Билль-Белоцерковский, а у него в издании «Шторма» красуется ремарка, что на стене Укома рядом с портретом Ленина висит портрет Троцкого! Как он это нам объяснит?!

Отец подумал-подумал и решил — промолчать, не отвечать. Авось забудется. Потому если выступить, обязательно прицепятся. Будешь ли оправдываться или каяться — все равно. И вскоре на того, кто зацепил отца, набросился другой писатель, и между ними началась бешеная ссора. И об отце все, действительно, забыли!

Уехав из Москвы, отец жил некоторое время под Сухумом в каком-то санатории или доме отдыха, партийном или правительственном, не помню. Однако НКВД появилось и там. Людей брали по ночам, а утром в столовой персонал санатория пересаживал отдыхающих всякий раз так, чтобы за столиками не были заметны пустые места. Освобождающиеся столики выносились. По вечерам всем отдыхающим выдавали снотворное, чтобы люди спали, а не слушали шаги в коридоре — к кому идут?

В одну из ночей постучали в комнату приятеля отца.

— Одевайтесь! — приказали ему сотрудники НКВД. Когда тот оделся, у него потребовали документы, паспорт. — Извините, — сказал чекист, увидев его паспорт. — Можете спать дальше! — И пошли в соседнюю комнату.

Несколько человек в санатории скончались от инфаркта, один повесился у себя в комнате, не выдержав ожидания ночных гостей.

Отец сбежал из этого санатория в Сочи и поселился там в гостинице. Мы с матерью приезжали к нему зимой на месяц. Я запомнил ужасный шторм, который забрасывал в зал стоявшей у моря гостиницы огромные камни, валуны. Но НКВД там не так сильно бушевало.

Из Сочи мы переехали в Гагры. Там я с отцом ходил в ущелье, где первый и последний раз в жизни видел настоящий аул, прилепившийся к склону горы. Дома-сакли с плоскими крышами, на них — другие сакли, и минарет в середине аула, узенькие, кривые, карабкающиеся в гору улочки, живописные, приветливые жители — абхазцы, собаки, запах горьковатого дыма. Жуткая романтика! Если бы я не видел этого аула, мне было бы, наверное, совсем не так интересно читать потом Лермонтова или Толстого о Кавказе. После войны, приехав в Гагры, я первым делом пошел в то ущелье, но на месте аула увидел филиал ресторана «Гагрипша», самого модного и дорогого в Гаграх.

Летом 38-го года отец поехал на польско-белорусскую границу «собирать материал для пьесы о пограничниках», потом писал ее в местных домах отдыха до весны 39-го. Лишь бы не мозолить глаза в Москве. Летом мы с мамой опять приезжали к нему, жили некоторое время даже на заставе. Один раз отец и начальник заставы взяли меня с собой в ночь на обход «секретов». Помню, как из тьмы выскакивали пограничники и докладывали обстановку, как рычали на нас их собаки.

Поздней осенью 38-го мама тяжело отравилась, попала надолго в больницу, и отец забрал меня с собой в Белоруссию. В ту поездку я впервые увидел, в какой роскоши уже тогда жили «ответственные работники». В Минск мы с отцом ехали в вагоне первого секретаря ЦК партии Белоруссии Червякова. Там были столовая, душевые комнаты, красное дерево, бархат, икра всех цветов, коньяки, ликеры. В загородном доме отдыха правительства, где жил отец, — вновь роскошь и изобилие. Запомнилось отвратительное действие, когда однажды на заднем дворе повара резали поросят. Надрезали горло и отпускали бегать, и поросята, отчаянно визжа, петляли по снегу, истекая кровью, и вскоре весь двор был красным от крови, с валяющимися повсюду мертвыми поросятами. На ужин в тот день подавали свиную колбасу с кровью — белорусское лакомство. Увидев ее, я убежал из-за стола.

Запомнились мне и дородные игривые буфетчицы и официантки в столовой, и модная тогда разухабистая песенка, исполнявшаяся на канканный лад: «Знаю я одно укромное местечко, под горой лесок и маленькая речка, там люди нежности полны и целуются в уста возле каждого куста». Самое было для этого время! Не успели люди натанцеваться под эту песенку, как вал арестов накатил и на руководящую белорусскую элиту. В «укромное местечко» на том свете угодили почти все! Червяков, честь ему и слава, сумел покончить жизнь самоубийством.

Весной, когда начались аресты, нам с отцом пришлось уехать в Москву, где к тому времени волна арестов стала спадать. Но отец еще некоторое время жил в страхе, что его притянут теперь уже за связь с «врагами народа» из руководства Белоруссии.

Много позже отец показал мне вырезку выступления сталинского сатрапа Жданова в 37-м году. Жданов сказал тогда следующее: «Некоторые члены партии для того, чтобы подстраховаться, прибегали к помощи лечебных учреждений. Вот справка, выданная одному гражданину». Жданов зачитал ее: «Товарищ Х по состоянию своего здоровья и сознания не может быть использован никаким классовым врагом для своих целей. Районный психиатр Октябрьского района г. Киева.

Подпись.»

Это выступление Жданова было напечатано в сборнике под красноречивым названием: «Страна социализма вчера и сегодня», который сохранился в архиве отца.

Самое забавное, что мой отец тоже добился в 39-м году уникальной врачебной справки, согласно которой отцу по состоянию здоровья было противопоказано участие в партийных собраниях! И это не только из-за страха перед «разоблачениями» добился отец такой справки, но из ненависти к партсобраниям. Еще до «ежовщины» отец опубликовал в какой-то писательской газете яркую статью «Присутствие не обязательно!», в которой писал, что партийные собрания, которыми тогда буквально напихивали календарь, мешают писателям работать, и нужно решить наконец, «где важнее присутствие писателя: на партсобраниях или в литературе?». («Присутствие не обязательно» — это была перифраза дежурных слов в объявлениях о партсобрании: «Присутствие обязательно!».)

После получения упомянутой выше справки отец, единственный из всех литераторов — членов партии, никогда до конца жизни не посещал партсобраний! Если проходили обсуждения каких-либо важных вопросов, то протоколы и документы ему присылали домой, часто с пометкой «Секретно!».